

Роберт Луис Стивенсон

Провидение и гитара



Роберт Льюис Стивенсон
Провидение и гитара
Серия «Новые тысячи
и одна ночь», книга 3

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=129881

Аннотация

«Месье Леон Бертелини всегда заботился о своей внешности и старательно согласовывал с ней осанку, манеры, речь, да и душевное его настроение чаще всего гармонировало с костюмами, которые он надевал в тот или иной час дня. Даже в домашней обстановке он являл собой подобие то испанского идальго, то театрального бандита, и часто от него положительно веяло Рембрандтом.

Между тем он был человеком маленького роста, с несомненной склонностью к полноте и добродушнейшим лицом, почти всегда отражавшим великолепное расположение духа. Выделялись лишь его чрезвычайно выразительные темные глаза, в которых светились веселый характер, неутомимый дух и вообще вся его подвижная натура...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	9
Глава III	16
Глава IV	24
Глава V	33
Глава VI	42
Глава VII	49

Роберт Льюис Стивенсон

Провидение и гитара

Providence and the Guitar, 1878

* * *

Глава I

Месье Леон Бертелини всегда заботился о своей внешности и старательно согласовывал с ней осанку, манеры, речь, да и душевное его настроение чаще всего гармонировало с костюмами, которые он надевал в тот или иной час дня. Даже в домашней обстановке он являл собой подобие то испанского идальго, то театрального бандита, и часто от него положительно веяло Рембрандтом.

Между тем он был человеком маленького роста, с несомненной склонностью к полноте и добродушнейшим лицом, почти всегда отражавшим великолепное расположение духа. Выделялись лишь его чрезвычайно выразительные темные глаза, в которых светились веселый характер, неугомонный дух и вообще вся его подвижная натура.

Явись он перед вами в соответственном костюме, и вы могли бы его принять за что-то среднее между говорливым брадобреем, содержателем гостиницы и любезнейшим аптекарем. Но стоило ему облачиться в любимый костюм: затейливо обвязать шею беленьким платочком, взамен или в отрицание галстука; надеть бархатную, дерзостно вызывающего вида куртку, за которой следовало что-то вроде театрального трико; на ноги – башмаки из материи, еще более тонкой, чем на сцене у персонажей Мольера (в любую погоду), да еще лихо накрыть голову мягкой шляпой, огромные поля которой

то скрывали, то обнаруживали свесившуюся над его бровью прядь густых кудрей, точно у богов Олимпа, – и вы тотчас, при первом же взгляде, должны были понять и признать, что перед вами «избранная натура» – великий человек.

Надевая пальто, Бертелини, разумеется, презирал употребление рукавов. Пристегнув его одной пуговицей на плечах и откинув назад наподобие театрального плаща, он ходил с поступью и манерами графа Альмавивы.

Я придерживаюсь того мнения, что господину Бертелини было уже около сорока лет, но сердцем он оставался совсем юным. Как дитя любовался он своим щегольским видом и вообще жизненный путь пробегал с беспечностью ребенка, постоянно играя какую-нибудь роль со всеми радостями ее переживаний. Жизнь не даровала Леону Бертелини и малой доли богатства или эффектной внешности графа Альмавивы, но это нисколько не мешало ему всецело проникаться настроениями испанского гранда и то и дело играть в него.

Я видел его в минуты подобного самовнушения. Он так сживался со своей ролью, вкладывал в нее столько теплоты, естественности, заразной веселости, что впечатление получалось поразительное.

Тогда я и уверовал в эту позу «великого человека».

Но действительная жизнь – увы! – строится не на таком зыбком фундаменте. Нельзя прожить век одной альмавивщиной, и «великий человек», провалившись в разных театрах, вынужден был спуститься с заветной артистической вы-

шины. Пришлось зарабатывать себе хлеб насущный игрой на гитаре и пением комических куплетов и романсов, по десятку и более каждый вечер. Вдобавок во время турне в провинции после собственных концертов ему приходилось устраивать «беспроигрышные» лотереи...

Была и мадам Бертелини – верная подруга мужа и единственная соучастница его скромной артистической деятельности. По-видимому, на лестнице разумных существ она занимала более высокое место, чем ее муж, и это придавало ей естественное выражение собственного достоинства, сменявшееся порой несколько меланхолическим выражением. Этот вид придавал ее вообще красивым чертам особого рода привлекательность и несомненно шел к ней, но совершенно не гармонировал с жизнерадостным, то и дело приподнятым до небес, почти мальчишеским задором ее супруга.

Он же все парил в небесах, точно сокол при свежем ветерке, высоко и далеко от волнений и зла грешной земли. Суровые бури нередко омрачали его небосклон, но на него не действовали ни угрюмые туманы, ни угнетающая атмосфера. Он не знал, что такое слезливый упадок сил. На злую напасть, на горькую, незаслуженную обиду он отвечал эффектным ударом кулака по столу или гордой позой, подсмотренной у Меленга или Фредерика, – и этого было достаточно, чтобы развеять минутный гнев или «отомстить» нечестивому обидчику. Пусть хотя бы небо валилось, но если при этом Леону Бертелини досталась «хорошая» роль, он больше ни-

чего бы не потребовал и остался бы совершенно доволен.

Если не сами поступки, то дух их, вся атмосфера, в которой витал Леон Бертелини, увлекали и его жену. Они давно и горячо любили друг друга. По природным склонностям супруги Бертелини, казалось бы, должны были очень скоро разойтись; между тем они продолжали жизненный путь вместе, рука об руку, поддерживая и утешая друг друга.

Глава II

Однажды чета Бертелини прибыла на гастроли в крохотный городок Кабель-ле-Гаши. Пассажиров и их багаж – два чемоданчика и гитара в затасканном и засаленном от времени футляре – забрал с железнодорожной станции омнибус и отвез на узенькую улицу к мрачному зданию старинного вида, вроде монастыря, с такими толстыми стенами, что стоило запереть ворота и можно было бы выдержать продолжительную средневековую осаду. Это была гостиница «Черная голова». Путешественников при входе поразил запах, несшийся от внутренних покоев, – странная смесь испарений от соломы, шоколада и старых женских одежд.

Бертелини даже приостановился на пороге. Его охватило какое-то тягостное предчувствие. Ему показалось, что он и раньше входил в такую же гостиницу, от которой пахло так же скверно, и приняли его там не очень любезно.

Хозяин в широкой шляпе – Бертелини увидел трагический тон в ней и ее обладателе – встал со стула, над которым висела огромная связка ключей его комнатных и ящичных владений, и, обнажив голову, выступил навстречу приезжим с самой широкой медовой улыбкой, почтительно держа «трагическую» шляпу обеими руками.

– Милостивый государь, имею честь кланяться! Позвольте вас спросить, какую плату вы берете с артистов за комнату

и ужин? – произнес Бертелини тоном довольно торжественным, но вполне вежливым и даже с маленькой заискивающей ноткой.

– «С артистов»?! – повторил хозяин, и с лица его мгновенно сбежала приветственная улыбка. – С артистов, – прибавил он уже совсем грубо, – четыре франка в сутки! – И повернулся к Бертелини спиной.

Приезжие оказались слишком незначительными.

Во французских провинциальных гостиницах скидкой обычно пользуются и артисты и коммивояжеры, но отношение к этим двум категориям лиц совершенно различное. Коммивояжеры – желанные гости. Они могут требовать что угодно, даже заклятия жирного тельца, и все в гостинице к их услугам. Артистов же, хотя бы они обладали наружностью и манерами графа Альмавивы или по богатству костюма производили такое же впечатление, как царь Соломон в пышных одеждах во время его наивысшей славы, встречают чуть ли не как собак и прислуживают им с той же бесцеремонной небрежностью и нахальным невниманием, как случайно заехавшей, одинокой и робкой женщине.

Как ни привык Бертелини к трениям своей профессии, его неприятно покоробили манеры хозяина.

– Эльвира! – шепнул он жене. – Запомни мои слова о Капель-ле-Гаши: трагическое безумие!

– Подожди. Посмотрим, что можно покушать, – ответила Эльвира.

– Мы ничего здесь не съедим, – возразил Бертелини. – Нас здесь угостят обидами, а не обедом. Эльвира, ты знаешь, какой у меня дар предвидения: это место проклято! Хозяин отеля груб, как скотина. Полицейское начальство здесь, конечно, в том же роде. Концерт не даст сбора. Ты простудишь себе горло. Глупо, страшно глупо было с нашей стороны ехать в этот Кастель-ле-Гаши. Пропащая поездка! Это будет второй Седан!

Седан был городом, ненавистным обоим Бертелини не только из-за их патриотических чувств (оба Бертелини были чистейшими французами), но еще и оттого, что в нем они пережили самый неприятный эпизод своей артистической жизни: им пришлось целых три недели просидеть в одной гостинице в качестве залога уплаты своего собственного счета, и если бы не совершенно случайный, прямо изумительный поворот фортуны, они и поныне, быть может, сидели бы там в плену.

Напоминание про дни в Седане производило на чету Бертелини впечатление неожиданного громового удара или первого содрогания почвы при землетрясении.

Граф Альмавива с отчаянием глубоко нахлобучил шляпу; вздрогнула даже Эльвира, словно перед ней мелькнул злоеущий призрак.

– Закажем все-таки завтрак, – промолвила она с чисто женским тактом.

Полицейское начальство города Кастель-ле-Гаши олице-

творялось в дородном, краснолицем, прыщеватом и вдобавок вечно потном комиссаре. Подобно множеству представителей его профессии он был больше полицейским, чем человеком; более проникнут чванством, чем сознанием законности и служебного долга. Беспричинно оскорбляя обывателя, он всерьез был уверен, что этим угождает правительству. Одним словом, это была грубая скотина не только по отсутствию образования и человеческого достоинства, но и по убеждению, что именно таким должен быть образцовый полицейский. Его «канцелярия» представляла собой темную дыру, откуда до слуха прохожих то и дело доносились не слова закона, а грубые выкрики полицейского «усмотрения».

Шесть раз в течение дня Бертелини отправлялся в эту канцелярию за получением полицейского разрешения на концерт, шесть раз находил ее пустой, шесть раз дожидался там комиссара, шесть раз уходил, не дождавшись его. Многие горожане сразу его приметили, и скоро Бертелини стал в городке известной личностью – на него прямо указывали, как на господина, «который ищет комиссара». Немедленно образовался отряд добровольцев: уличные мальчишки с восторгом «искали комиссара» вместе с артистом, то следуя за ним по пятам, то шумно опережая его.

Трудно было при таких условиях сохранять непринужденно-гордую осанку Альмавивы и играть его роль! Бертелини менял и позы, и жесты, давал своей огромной шляпе самые разнообразные наклоны, останавливался и с особым шиком

крутил папиросы, затем быстро шагал вперед, но все это начинало приедаться и актеру, и зрителям. К счастью, когда Бертелини уже в тринадцатый раз переходил через базарную площадь, ему указали на комиссара, который стоял около базарных весов в расстегнутом сюртуке и с заложенными за спину руками. Он наблюдал за взвешиванием сливочного масла. Бертелини быстро проложил себе дорогу через базарные чаны и стойки и подошел к должностному лицу с поклоном, который по изяществу должен был бы считаться верхом совершенства в актерском искусстве.

– Кажется, я имею честь видеть господина комиссара полиции? – спросил Бертелини.

Такое «благородное» обращение произвело на комиссара большое впечатление, и он даже превзошел Леона Бертелини, если не изяществом, то глубиной ответного поклона.

– Это я самый и есть! – ответил он, стараясь придать багровому лицу посильное выражение любезности.

– Милостивый государь, – продолжал странствующий певец, – я артист. Простите, что по личному делу я позволяю себе беспокоить вас во время исполнения служебных обязанностей. Сегодня вечером я намерен дать концерт – маленькое музыкальное развлечение в зале кафе «Торжества плуга» – вы позволите представить вам эту программку? – и явился к вам за требуемым по закону разрешением.

При слове «артист» комиссар тотчас надел снятое им при поклоне кепи и принял вид человека, который, сообразив,

что его снисходительность зашла слишком далеко, вдруг вспоминает свое положение в обществе и обязанности службы.

– Я занят! Я должен следить за взвешиванием масла! Проходите! – произнес он, придав голосу надлежащую начальственную сухость.

«Проклятый полицейский!» – подумал Леон. – Но позвольте, господин комиссар, – продолжил он вслух, – я уже шесть раз был у вас.

– Представьте вашу бумагу в канцелярию, – перебил полицейский. – Через час или два я посмотрю, в чем дело. А теперь уходите! Я занят!

«Глядишь на масло! – подумал Бертелини. – О, Франция! И для этого ты сделала девяносто третий год!»¹

Леон принялся за хлопоты по устройству концерта. Скоро в столовых всех гостиниц и харчевен были положены программы вечера. В конце общего зала «Торжества плуга» появились подмости. Бертелини снова отправился к комиссару, и того снова не оказалось в полицейском участке.

«Этот комиссар настоящая госпожа Бенуатон, – подумал Бертелини. – Проклятый полицейский!»

Он уже направился назад, как в дверях очутился лицом к лицу с комиссаром.

– Вот, – сказал Леон, – мои документы. Не будете ли столь любезны их проверить?..

¹ Имеется в виду Великая французская революция.

Но комиссар хотел есть и шел обедать.

– Не надо, не надо! Я занят! Давайте свой концерт, – буркнул он и поспешил домой.

– Проклятый полицейский! – воскликнул Леон.

Глава III

Публики на концерте собралось очень много, и хозяин кафе в этот вечер отлично торговал пивом, но чета Бертелини проработала почти впустую.

Между тем Леон был великолепен. Бархатный костюм на нем так и сиял; одна его манера, особенно шикарная – крутить папироски в перерыве между песнями, – положительно стоила денег; комические места в куплетах он подчеркивал так рельефно, что даже самые заплывшие жиром мозги в Капель-ле-Гаши могли понять, что именно тут надо засмеяться; наконец, гитара звучало быстро, громко, увлекательно.

Со своей стороны и Эльвира распевала свои романсы и патриотические песни с большим подъемом чем обыкновенно; голос ее разливался широкой волной, ласковой даже для требовательного слуха. И сама она, в роскошном коричневом платье, с модной тогда низкой талией и отсутствием рукавов, обнажившим руки до самых плеч, с большим красным, провоцирующим цветком, выглядывавшим из-за лифа, была весьма эффектна. Леон все на нее любовался, когда она пела, и повторял про себя в тысячный раз, что его Эльвира – прелестнейшая из женщин. Но, увы, когда Эльвира начала обходить зал с протянутым тамбурином, «золотая молодежь» города Капель-ле-Гаши холодно от нее отворачивалась. Лишь изредка в тамбурин падала медная монета и,

несмотря на поощрение искусства со стороны местного мэра, который, впрочем – и то не сразу! – расщедрился всего на десять сантимов, весь сбор был меньше одного франка...

Холодная дрожь охватила артистов: перед такой аудиторией моллюсков у самого Аполлона заняло бы сердце. Однако оба Бертелини решили не сдаваться без жаркого боя, и снова запели – еще громче, еще веселее. С еще большей силой зазвенела гитара. Наконец Леон затянул свою лучшую песню, свою самую эффектную сатиру, свой «великий» номер: «Il a y des honnetes gens partout!»². Никогда, кажется, он не пел ее с таким мастерством, но это не пронимало местных моллюсков. Бертелини на всю жизнь сохранил убеждение, что кастельлегашийцы в отношении здравого смысла и музыкального слуха составляют исключение из рода человеческого. «Тупые волы, воры!» – восклицал он. Но, однако, он не сдавался: повторял свои куплеты, точно бросал вызов публике, точно провозглашал исповедание новой веры, и лицо его так сияло, что можно было подумать: лучи от него обратят на правильный путь хоть нескольких кастельлегашийцев, которые, по-видимому, больше внимания обращали на свое пиво, чем на музыку и слова песни.

Он как раз тянул заключительную высокую ноту, с широко открытым ртом и откинутой назад головой, как вдруг с сильным стуком отворилась дверь в кафе, и два новых посетителя стали шумно пробираться по залу к первому ря-

² «Везде есть честные люди!» (франц.)

ду «кресел», то есть преимущественно табуреток и скамеек. Это был комиссар полиции в сопровождении другого важного должностного лица – местного жандарма.

Неутомимый Бертелини снова во весь голос завопил: «Везде есть честные люди!», но теперь аудитория сразу отозвалась. Бертелини не мог понять причины: он не знал биографии жандарма и не слышал о его маленькой истории с почтовыми или гербовыми марками, но публика отлично ее знала и с великим наслаждением забавлялась совпадением сатирического куплета с местным «злободневным» вопросом.

Комиссар уже уселся на один из передних стульев с видом Кромвеля, посещающего Долгий парламент и значительным шепотом стал сообщать свои замечания жандарму, который почтительно стоял за его спиной, но скоро глаза обоих чрезвычайно строго устремились на Бертелини. Тот же все продолжал, как ни в чем не бывало, выкрикивать:

– «Везде есть честные люди!»

В двадцатый раз и во всю мощь своей глотки провозгласил Бертелини этот афоризм, но тут комиссар вскочил с места и грозно замахал своею тростью по направлению певца.

– Я вам нужен? – спросил Леон, обрывая куплет.

– Да, вы! – крикнул властитель.

«Проклятый полицейский!» – пронеслось в уме Леона, и он спустился с подмостков по направленно к комиссару.

– Как могло так случиться, милостивый государь, – про-

изнес, точно раздуваясь, полицейский, – что я нахожу вас паясничавшим в кафе, в общественном месте без моего разрешения?

– Как без разрешения? – вскрикнул Леон с негодованием. – Позвольте вам напомнить...

– Довольно, довольно! – перебил комиссар. – Я не желаю объяснений!

– Мне нет дела до того, чего вы желаете или не желаете, – возразил певец. – Я предложил дать объяснения, и вы мне рот не заткнете. Я артист, милостивый государь, – это отличие, которое, правда, вы не в состоянии понять. Я получил от вас разрешение и нахожусь здесь на законном основании. Пусть помешает мне, кто посмеет!

– А я вам говорю, что вы не имеете моего письменного разрешения! – крикнул комиссар. – Покажите мне его! Покажите мою подпись!

Леон сообразил, что попал в западню, но почувствовал подъем духа и, отбросив назад свои пышные кудри, сразу вошел в роль угнетенного благородства; комиссар же для него предстал в роли тирана. Благородство стало наступать, тиран подался несколько назад. Аудитория привстала и слушала с серьезным и молчаливым вниманием, обычным у французов при зрелище столкновения с полицией.

Эльвира присела. Подобные эпизоды не представляли для нее интереса новизны, и на ее лице отразились лишь утомление и печаль, а не страх.

- Еще одно слово, – заревел комиссар, – и я вас арестую!
– Арестуете меня?! – вскрикнул Леон. – Не посмеете!
– Я... я начальник полиции!

Леон удержал свои чувства. Внушительно, но весьма деликатно он ответил:

- По-видимому, это действительно так.

Такой стилистический оборот был слишком тонок для кастильлегашийцев: никто в зале даже не улыбнулся. Что же касается комиссара, он просто приказал певцу следовать за ним «в канцелярию» и горделиво направил начальственные стопы к двери. Леону оставалось только повиноваться. Он это и сделал, тотчас придав лицу, после надлежащей пантомимы, выражение полнейшего равнодушия. Конечно, за обоими потянулась целая свита любопытных.

Тем временем мэр, который еще раньше вышел, уже поджидал комиссара у входа в канцелярию. Мэр во Франции является благодетельным противовесом придирам полицейских и часто принимает граждан под свою защиту от их притеснений. Как выборное лицо мэр большей частью не зазнается, не особенно чванится своим общественным положением, бывает доступен, слушает и понимает то, что ему говорят. Между прочим, путешественникам полезно принять это к сведению. Когда же все, по-видимому, погибло, и ум начинал свыкаться с неустрашимым фактом совершающейся несправедливости, у человека остается еще маленький рожок, в который, как говорится в предании, он может протру-

бить призыв о помощи, и тогда – как современный, вполне комфортабельный *deus ex machina*³ – является мэр города или деревенской общины спасать его от формальных представителей или, точнее, извратителей закона.

Так и мэр города Кабель-ле-Гаши, хотя и остался совершенно нечувствительным к искусству Леона и его музыке, ни на минуту не задумался взять притесненного артиста под свою защиту. Он тотчас повел атаку против комиссара в высокопарных и весьма энергичных выражениях. Глубоко уязвленный комиссар, бессильный на почве «принципов», упорно стоял на факте отсутствия письменного разрешения, и, казалось, победа клонилась уже на его сторону, как вдруг мэр объявил, что принимает на свою ответственность все последствия, и, повернувшись к комиссару спиной, посоветовал Леону возвратиться в кафе и завершить концерт.

– Становится уже поздно! – добавил он.

Бертелини не заставил его повторять благой совет. Он со всею свитой поспешил обратно в кафе «Торжества плуга». Но, увы, в его отсутствие толпа слушателей растаяла. Эльвира с сокрушенным выражением лица сидела на гитарном футляре.

Она видела, как посетители исчезали по два и по три, и это слишком продолжительное зрелище не могло не быть удручающим. Каждый уходящий, говорила она себе, уносит в своем кармане частицу ее возможного заработка. Она ви-

³ Бог из машины (лат.)

дела, что деньги и за ночлег, и на завтрашний железнодорожный билет, и, наконец, на завтрашний обед постепенно уходят из кафе, исчезая во мраке ночи.

– В чем дело? – спросила она мужа совершенно истомленным голосом.

Леон не ответил. Он смотрел вокруг себя на опустевший зал, на печальное поле поражения... Оставалось всего десятка два слушателей, и то самого малообещающего сорта. Минутная стрелка стенных часов была уже близка к одиннадцати.

– Это проигранная битва, – сказал он и, достав кошелек, вывернул его содержимое. – Три франка семьдесят пять! – воскликнул он. – Надо четыре франка за гостиницу и шесть на железную дорогу, а на лотерею не остается времени!.. Эльвира, это наше Ватерлоо.

Он сел и с отчаянием запустил руки в свои кудри.

– О, проклятый комиссар! Проклятый полицейский! – крикнул он вне себя.

– Соберем вещи и уйдем отсюда, – сказала Эльвира. – Можно бы еще спеть что-нибудь, но во всем зале не будет сбора и на полфранка.

– «Полфранка»?! – возопил Леон. – Полтысячи чертей им! Здесь нет ни одной человеческой души! Только собаки, свиньи и комиссары! Моли Бога, чтобы мы благополучно добрались до постели.

– Ну что ты выдумываешь! – воскликнула Эльвира, но са-

ма невольно вздрогнула.

Они быстро начали укладываться. Коробки с табаком, чубуки, три картонных листа с цифрами, предназначенные для «беспроегрешной» лотереи, если бы она состоялась, – все это было увязано вместе с ножами в один узел; гитару заточили в ее старый футляр. Эльвира накинула тоненькую шаль на голые руки и плечи, и артисты направились к гостинице «Черная голова».

На городских часах пробило одиннадцать, когда они переходили базарную площадь. Осенняя ночь была черная, но мягкая; по дороге они не встретили ни одного прохожего.

– Все это прекрасно, – сказал Леон, – но у меня какое-то скверное предчувствие. Ночь еще не прошла...

Глава IV

В гостинице «Черная голова» не было ни одного огонька, даже ворота были заперты.

– Это прямо невиданно! – заметил Леон. – Гостиница, которая в пять минут двенадцатого уже закрыта! А в кафе ведь остались еще посетители, и между ними были коммивояжеры. Эльвира, сердце что-то щемит... Ну, позвоним!

Дверной колокол дал низкую, густую ноту, которая разлилась по всему зданию снизу доверху с гудящим, долго не замирающим звуком. Это как раз подходило к монастырскому виду здания, к впечатлению холода и поста, которое оно навевало.

У Эльвиры болезненно сжалось сердце; что же касается Леона, он имел такой вид, будто читает и прорабатывает режиссерские реплики к проведению пятого действия мрачной трагедии.

– Мы сами виноваты, – сказала Эльвира. – Вот что значит вечно фантазировать!

Леон снова потянул за веревку колокола, и снова торжественный гул разнесся по всему зданию. Лишь когда он совершенно замер, в окошечке передней блеснул огонек и раздался громкий, взбешенный голос.

– Это что такое? – кричал сквозь дверь хозяин трагическим голосом.

– Почти полночь, а вы шумите, точно пруссаки, у дверей тихой и почтенной гостиницы! Ага, я узнал вас! – крикнул он после мгновенного перерыва. – Бродяги-певцы, которые ссорятся с полицией! И вот, извольте видеть, теперь, точно господ, милорды и леди, являются в полночь! Вон отсюда!

– Позвольте вам напомнить, – возразил Леон громким, но дрожащим от волнения голосом, – что я ваш гость, я надлежащим образом записан в книге жильцов, я оставил в гостинице багаж на четыреста франков...

– Вы не можете его получить в этот час! – крикнул в ответ хозяин.

– Моя гостиница – не ночной трактир, не пристанище для воров, ночных распутников, шарманщиков и шарманщиц...

– Скотина! – крикнула ему Эльвира, задетая последним эпитетом.

– Я тре-бу-ю свой ба-гаж! – громко и внушительно про-скандировал Леон с ударением на каждом слоге.

– Я не зна-ю ва-ше-го ба-га-жа! – тем же манером отвечал хозяин.

– Вы за-дер-жи-ва-е-те мой ба-гаж? Вы осмелитесь задержать мои вещи?! – крикнул Леон таким голосом, что хозяин, очевидно, счел за лучшее отступить.

– Да кто вы такой? – дипломатично ответил он вопросом на вопрос. – Я не могу вас узнать. Страшно темно...

– Ага! Отлично! Вы все-таки задерживаете мои вещи! – заключил Леон. – Вы за это ответите! Я испорчу вам всю

жизнь. Я подам в суд, во все суды, и если во Франции есть правосудие, оно рассудит нас! И еще я из вас сделаю ходячее посмешище! Я сочиню про вас песню, – песню грубую, непристойную, которая делается у вас здесь народной, которую мальчишки на улицах будут кричать, которую будут выть у ваших ворот в самую полночь!

Голос Леона с каждым оборотом речи все повышался и уже не встречал ответа: неприятель безмолвно отступил, заглохли его шаги, скрылся последний луч фонаря.

Леон обратился к жене, став в героическую позу.

– Эльвира! – торжественно произнес он. – Отныне у меня есть нравственный долг, цель жизни! Я должен уничтожить этого человека, как Эжен Сю уничтожил привратника-швейцара! Приступим к возмездию! Идем в жандармерию!

Он схватил прислоненный к стене ящик с гитарой, и оба с пламенеющими сердцами быстро двинулись по скудно освещенным улицам.

Жандармерия помещалась за телеграфной конторой, в самой глубине обширного двора, который граничил с садами. В этом дальнем и тихом углу мирно почивала вся местная стража общественной безопасности. Немалого труда стоило до нее достучаться и поднять на ноги одного из жандармов. Когда же он очнулся и выслушал, в чем проблема, то сперва помолчал, а затем произнес:

– Это не наше дело.

Ничего больше Леон от него не добился. Напрасно пытал-

ся он убедить жандарма, упросить, подействовать на его чувства.

– Вы видите здесь госпожу Бертелини, в бальном платье, с очень деликатным здоровьем, да еще в интересном положении.

Последнее фантастическое утверждение было сделано для лишь вящего эффекта, но полусонный жандарм ограничился ответом:

– Это не наше дело. Оно выходит из круга наших обязанностей.

– Отлично! – заключил Леон. – Значит, мы должны идти к комиссару!

Они поспешили в полицейскую канцелярию. Она, конечно, оказалась запертой, но квартира комиссара, как известно было Леону, находилась тут же, и он начал бешено трезвонить в колокольчик. В окне появилась фигура, похожая на узенькую полосу белой бумаги. Это была жена комиссара, которая объявила, что муж еще не возвращался.

– Нет ли его у мэра? – спросил Леон.

Она ответила, что в этом нет ничего невероятного.

– Позвольте спросить, как отыскать жилище мэра?

Она не отказалась дать Леону несколько указаний, хотя и довольно неопределенных.

– Оставайся здесь, Эльвира, – сказал Леон, – иначе я рискую с ним разминуться. Если я тебя здесь не найду, значит ты уже находишься на законном основании в гостинице

«Черная голова». – И Леон бодро отправился на поиски начальства.

Потребовалось более десяти минут блуждания по переулкам и тропинкам меж садов, чтобы найти дом мэра. Когда, наконец, он до него дошел, пробило половину первого.

Перед Леоном был обширный сад, огороженный белой каменной стеной, над которой свешивалась темная листва больших ореховых деревьев. В стене была дверь, а на ней почтовый ящик и шнурок колокольчика – вот все, что можно было усмотреть в жилище мэра.

Леон взял шнурок в обе руки и начал со всех сил дергать его взад и вперед. Сам колокольчик висел сразу за дверью и, мгновенно отражая колебательные движения Леона, наполнял окрестность тревожным звоном.

Однако из жилища мэра никто не отзывался, лишь из окна на противоположной стороне улицы донесся голос, спросивший, в чем причина необычного трезвона.

– Я желаю видеть мэра! – объявил Леон.

– Он давно уже в постели, – ответил голос.

– Он должен подняться! – крикнул Леон и снова взялся за шнурок.

– Он вас не услышит, – спокойно ответил голос. – Сад очень велик, дом в самом дальнем конце, а мэр и его консьержка – оба почти глухие.

– А-а! – произнес Леон после маленькой паузы. – Так мэр глух? Ага! Тогда все объясняется. – Тут он вспомнил с бла-

годарным чувством добрую роль мэра в его столкновении с полицией. – Итак, сад велик и дом головы в самом далеком конце?

– Вы можете звонить хоть всю ночь, – прибавил спокойный голос, – и ничего из этого не выйдет, разве только не дадите спать мне.

– Благодарю вас, сосед, – ответил Леон. – Вы должны спать и вы будете спать.

И он поспешил самым быстрым шагом обратно, к квартире комиссара. Там он увидел Эльвиру, ходившую взад и вперед по тротуару.

– Он еще не вернулся? – спросил Леон.

– Нет.

– Так! А я уверен, – воскликнул Леон, – что он дома! Где моя гитара? Я поведу на него форменную атаку, Эльвира. Я огорчен, я негодую, я рассвирепел, но благодарен Создателю, что он наделил меня капелькой фантазии и находчивости. Сейчас мы угостим несправедливого судью серенадой! Сейчас, сейчас угостим!

Тем временем он быстро настроил гитару, взял несколько аккордов и стал в несомненно испанскую позу.

– Ну, пробуй свой голос, Эльвира! Готова? За мной! Гитара зазвенела, и в ночной тиши раздался дуэт на слова старого Беранже:

Commissaire! Commissaire!

Colin dat sa menagere!⁴

Даже камни Кастель-ле-Гаши дрогнули от такой дерзкой новизны. От века ночь почтенного городка была освящена для сна горожан в ночных колпаках. Что же теперь? То и дело в окнах начали чиркать спичками и зажигать свечи; высунулись физиономии, опухшие от сна, и с изумлением увидели перед жилищем комиссара две человеческие фигуры с откинутыми назад головами, точно вопрошавшие звездное небо своими взглядами. Гитара ныла, пела и шумела, точно пол-оркестра, и два молодецких голоса во всю мощь легких всуе призывали имя комиссара. И отовсюду вторило им эхо. Все это более походило на дивертисмент какого-нибудь мольеровского фарса, чем на эпизод действительной жизни города Кастель-ле-Гаши.

Комиссар если не первый, то и не из последних почувствовал влияние музыки. Он шумно подскочил к окну вне себя от бешенства и, высунувшись вперед, стал отчаянно жестикулировать руками и кричать как сумасшедший. Кисточка его белого ночного колпака непрерывно болталась вперед-назад и вправо-влево, рот раскрывался до рекордных размеров, голос рычал и хрипел. Ясно было, что, продолжись еще серенада, егохватила бы кондрашка.

Я стесняюсь передавать содержание выкриков комиссара. Он коснулся множества вопросов, слишком серьезных и острых для такого мирного повествователя, как я. Хотя ко-

⁴ Комиссар! Комиссар! Колин бьет хозяйку! (франц.)

миссар издавна был всем известен как скорый и громкий на язык, но в описываемый ночной час он так превзошел себя, что одна старая девственница, которая также поднялась с постели и подбежала к окну, тотчас была вынуждена поспешно его захлопнуть из-за крылатых выражений начальника городской полиции.

Услышав голос комиссара, Леон прекратил серенаду и попытался ему объяснить, в чем дело, но в ответ слышались только угрозы ареста.

– Вот погоди! Дай только спуститься вниз! – кричал комиссар.

– А ну, ну! – отвечал Леон. – Спускайтесь!

– Вот только не хочу!

– Не смеете!

Комиссар захлопнул окно.

– Все пропало! – воскликнул Леон. – Серенада, кажется, и горожанам не понравилась. У этого мужичья нет ни капли юмора.

– Уйдем скорее отсюда! – промолвила, содрогаясь, Эльвира. – Я их всех разглядела, кто у окон стоял. Такие грубые, злые лица... – И, давая выход своим чувствам, она крикнула несколько раз на зрителей, стоявших еще со свечами в окнах. – Скоты! Скоты! Скоты!

– Ну, теперь давай удирать! Заварили мы кашу! – воскликнул Леон. – И, схватив гитару в одну руку и узел с вещами в другую, он показал Эльвире пример поспешного от-

ступления.

Глава V

К западу от Капель-ле-Гаши ряды огромных старых лип образовали несколько темных аллей, чернота которых резко оттенялась звездным светом ночи. Там и сям между стволами лип находились каменные скамейки. Царила полная тишина. Воздух был совершенно неподвижен; над аллеями нависла тяжелая атмосфера цветущей липы; листья точно одеревенели вместе со своими ветками. Именно сюда, в одну из этих аллей, пришла чета Бертелини после безуспешных попыток достучаться в две гостиницы, попавшиеся им по пути. Несмотря на деликатные отказы Эльвиры, Леон настоял, чтобы она надела его куртку, и оба они молча сели на первую же скамейку. Леон скрутил папиросу и выкурил ее до самого конца, вглядываясь в верхушки деревьев и сквозь них в яркие созвездия, названия которых безуспешно старался припомнить.

Вдруг тишину нарушили церковные часы. Они медленно и размеренно пробили четыре четверти, затем раздался один лишь полный и сильный удар, который долго дрожал в воздухе, пока совсем не замер. Снова воцарилась тишина.

– Час ночи, – промолвил Леон. – Еще целых четыре часа до зари. Но тепло... Звезды сияют. Табаку и спичек хватит. Знаешь, Эльвира, говорю серьезно: это приключение, в конце концов, не лишено прелести. Я чувствую в сердце жизнь.

Я возрождаюсь. Кругом чарующая природа. Вспомни, дорогая, романы Купера...

– Леон! – ответила Эльвира почти с яростью. – Как можешь ты нести такую чепуху?! Провести целую ночь вне дома! Да это кошмар, я умру!

– Милая, постарайся примириться с положением, – нежно произнес Леон. – Право, здесь довольно привлекательно. Ну, хочешь, мы пройдем какую-нибудь сцену? Разве повторить Альцеста и Селимену? Нет? Не хочешь? Ну, тогда из «Двух сироток». Начнем, это отвлечет тебя от печальных мыслей. Я для тебя так сыграю, как никогда еще не играл! Я чувствую вдохновение до мозга костей!

– Да придержи свой язык! – крикнула Эльвира. – Или я с ума сойду! Неужто ничто тебя не образумит, даже ужас нашего положения?

– Да в чем же ужас? – возразил Леон. – Почему ужас? Где ужас? А где бы ты хотела находиться? «Dites, la jeune belle, ou voulez vous aller?»⁵ – пропел он. – Ах, вот мысль! – воскликнул Леон, доставая гитару из футляра. – Мы с тобой споем! Пой, Эльвира, это успокоит твои чувства!

И, не дожидаясь ответа, он начал наигрывать аккомпанемент. Первые же аккорды разбудили молодого человека, сидевшего на соседней скамейке.

– Эй! – крикнул он. – Что там такое? Кто вы?

– «Какому царю ты подвластен, прощелыга-нищий? –

⁵ «Скажи, красотка, куда ты хочешь уехать?» (франц.)

продекламировал Леон. – Скажи пароль или умри»!

Молодой человек встал и пошел к ним. В полутемной аллее он показался рослым, сильным юношей, с видом джентльмена, но несколько одутловатым лицом. На нем были серый костюм и серая охотничья шляпа. Когда он приблизился, показалась и дорожная сумка, перекинутая через плечо.

– Вы сюда тоже перекочевали? – спросил он с сильным английским акцентом. – Я рад, по крайней мере будет компания!

Леон описал свои злоключения. Юноша в свою очередь пояснил, что он студент Кембриджского университета, но экзамен еще не сдавал. Он решил во время каникул совершить маленькое путешествие по Франции, попал в Кастель-ле-Гаши, но здесь «сел на мель» из-за неполучения денег из дома, и теперь, не имея средств на гостиницу, поселился в этих аллеях. Он ночует тут уже двое суток, и, вероятно, это продлится еще на пару ночей.

– К счастью, стоит теплая погода, – добавил он в заключение.

– Слышала, Эльвира? – точно обрадовавшись, воскликнул Леон и, обратившись к студенту, сказал: – Госпожа Бертелини придает слишком много значения нашему маленькому приключению. Со своей стороны я нахожу его просто романтическим. В сущности, в этой ночевке на свежем воздухе вовсе нет особых неудобств или по крайней мере, – доба-

вил он, переменяя место сидения на каменной скамье, – нет больших неприятностей, которых можно было бы ожидать при других обстоятельствах. Но что же вы всё стоите? Садитесь, пожалуйста!

– Благодарю, – ответил студент, садясь рядом с Леоном. – Ваша правда: как немножко привыкнешь, так хорошо спится и на каменной скамейке. Вот только адски трудно найти, где умыться... А ночь отлично проходит... Я люблю свежий воздух, звезды и все такое прочее.

– Ах! – воскликнул Леон. – Вы артист?

– Я артист? – переспросил студент с удивлением. – Почему вы так думаете? Я вовсе не артист.

– Простите меня, – возразил актер, – но вы только что так хорошо выразились о свежем воздухе, о звездах...

– Вот еще пустяки! – воскликнул студент. – Как будто нельзя любоваться на звезды и быть в то же время кем угодно, а не артистом!

– Все же у вас несомненно артистическая натура, мистер... Прошу извинения, не будет ли с моей стороны нескромностью осведомиться, как вас зовут? – спросил Леон.

– Моя фамилия Стаббс.

– Очень благодарен, мистер Стаббс. Мое имя – Бертелини, Леон Бертелини, бывший артист Монружского, Бельвильского и Монмартрского театров. Мистер Стаббс, сейчас по разным обстоятельствам я занимаю амплуа весьма, так

сказать, скромное, но смею вас уверить, что я создал – и при том в самом Париже! – немало важных ролей. Вот, например, за Горного Демона, в пьесе того же названия, меня расхвалила вся парижская пресса без исключения!.. А госпожа Бертелини, моя супруга – позвольте представить! – тоже артистка и, считаю долгом добавить, артистка лучшая, чем ее муж. Она может похвалиться недюжинным творчеством. Она создала около двадцати песен, которые имели громадный успех в одном из главных парижских концертных залов... Но, возвращаясь к прежнему разговору, я снова повторяю, что у вас артистическая натура. Вы артист в душе, мистер Стаббс! Смею вас уверить, что я компетентный судья в этих вопросах. Я надеюсь, что вы не пойдете наперекор вашим естественным влечениям. Вы позволите дать вам добрый совет? Выбирайте артистическую карьеру!

– Очень благодарен! – ответил Стаббс, расхохотавшись. – А я мечтал сделаться банкиром.

– Что вы! – воскликнул Леон. – Боже избави, не говорите этого! Человек с вашей натурой не должен подавлять свои духовные стремления. Ну что значат временные, небольшие на первых порах лишения, если вы будете работать для благородной, высокой цели?

«Малый, кажется, того... рехнулся, – подумал Стаббс, – но жена у него хорошенькая, да и сам он славный парень, вот только мелет всякую чушь».

– Кажется, вы говорили, – произнес он уже вслух, – что

вы актер?

– О, конечно! – ответил Леон. – Или, точнее – увы! – я был актером...

– И вы желаете, чтобы я сделался таким же актером, как вы? – продолжал кембриджский студент. – Но, господин Бертелини, я никогда не выучу ни одной роли: память у меня – словно решето. А потом надо еще говорить, декламировать, действовать руками, изображать... Я столько же смыслю в этом деле, как та кошка, которая только что пробежала.

– Сцена не единственное поприще, – возразил Леон. – Сделайтесь поэтом, беллетристом, скульптором, танцором, но следуйте голосу сердца! Следуйте ему всю жизнь, до гробовой доски служите искусству!

– Вы все эти вещи называете искусством? – спросил Стаббс.

В его голос слышалось изумление.

– Да, разумеется! – воскликнул Леон. – Разве это не отдельные отрасли единого, великого искусства?

– А я этого не знал. Я думал, – сказал англичанин, – что артист – это человек, который рисует!⁶

Певец взглянул на него с удивлением.

– Тут, очевидно, маленькое недоразумение, которое зависит от различия значений одного и того же слова на разных языках, – сказал Леон после некоторой паузы. – До сих пор людям за вавилонскую башню приходится расплачиваться!

⁶ По-английски «artist» означает «художник»

Если бы я умел говорить по-английски, вы лучше меня поняли бы и скорее последовали бы моему совету.

– Ну, я этого не думаю, – простодушно ответил Стаббс. – Я очень люблю звезды, особенно когда они ярко сияют. Замечательно приятно тогда на них смотреть! Но пусть меня повесят, если я что-нибудь понимаю в том, что вы называете искусством. Оно, очевидно, не для меня писано! Я вообще не люблю, когда, знаете, надо много думать или учить. Это дело интеллигентов. Мне же, дай Бог, только бы сдать экзамены... Но, – прибавил он, заметив даже в потемках глубокое разочарование на лице собеседника, – вы не думайте, чтобы я был врагом всему этому: я люблю театр, и пение, и гитару...

Леон почувствовал, что они никогда не поймут друг друга, и изменил тему.

– Итак, вы путешествуете? – сказал он, точно продолжая прежний разговор о приключениях юноши. – Знаете, это романтично и отважно. А как вам понравилась наша родина? Какое впечатление производит на вас здешняя местность? Эти дикие холмы дают отличную перспективу, настоящий сценический вид, не правда ли?

– Видите ли... – начал было Стаббс, собиравшийся возвестить с апломбом и рисовкой первокурсника, что его несколько не интересуют ни перспективы, ни сценические виды (что, между прочим, было бы неправдой). – Видите ли, – повторил он, сообразив, что такое суждение будет не по вку-

су Бертелини, – самому мне лично нравится это место, но другие говорят, что тут не очень красиво. Даже в путеводителе так сказано, не понимаю, правда, почему. А здесь хорошо, чертовски хорошо!

В этот момент вдруг послышались рыдания.

– Мой голос! – воскликнула Эльвира. – Леон, если я здесь останусь еще на полчаса, я потеряю голос. Я... я это чувствую!

– Ты не останешься здесь ни минуты! – с жаром воскликнул Бертелини. – Пусть даже придется стучаться в каждую дверь или поджечь этот проклятый городишко – я найду для тебя приют!

Он торопливо засунул гитару в футляр, взял жену под руку, успокоив ее еще более ласковыми словами, и обратился к студенту.

– Мистер Стаббс, – произнес он, снимая шляпу с изящным поклоном, – убежище, которое я вам предложу, еще довольно проблематического свойства, но позвольте просить вас доставить нам удовольствие вашей компанией. Вы сейчас находитесь в несколько стесненном положении и, конечно, должны разрешить мне предложить небольшой аванс, сколько вам сейчас может понадобиться. Я прошу об этом как о личном для меня одолжении. Мы встретились так неожиданно, так необычно, что слишком странно было бы тотчас расстаться.

В ответ Стаббс пробормотал что-то неопределенное и за-

молчал, почувствовав, что лавирует неудачно.

– Я, разумеется, не позволю себе ни принуждения, ни угроз, – продолжал с улыбкой Леон, – но с вашим отказом легко не примирюсь.

«Ну, я своего маршрута для него не изменю!» – сказал про себя студент, а затем, после непродолжительной паузы, произнес громко и, признаться, без всякой изысканности:

– Извольте! Разумеется... я весьма вам признателен! – И последовал за четой Бертелини, думая про себя, что это, однако, весьма оригинальная манера командовать людьми.

Глава VI

Леон уверенно пошел вперед, как будто знал совершенно точно, куда следует направиться. Рыдания Эльвиры постепенно замирали. Все шли молча, даже Леон не произносил ни слова. Как только они вышли из аллеи, из какого-то двора на них отчаянно залаяла собака. Церковные часы пробили два; за ними в соседних домиках последовали деревянные часы с кукушкой – точно все местные кукушки сочли своим долгом дважды прокуковать о позднем часе ночи.

Вдруг Леон заметил огонек, который светился в предместье города. Вся компания поспешно направилась туда.

– Вот и шанс для нас! – объявил Леон.

Свет был за последней городской улицей. Среди огорода, засеянного турнепсом, стояло несколько отдельных маленьких домов и нежилых строений. Одно из них, по-видимому, давно подверглось переделке: в стене и отчасти в крыше было проделано громаднейшее окно, которое, как заметил Леон, выходило на север.

– Кажется, ателье художника! – воскликнул он и даже засмеялся от радости. – Если это так, держу десять против одного, что мы встретим добрый прием, который нам так нужен.

– А я думал, что те, которые рисуют, преимущественно бедняки, – заметил Стаббс.

– Ах, мистер Стаббс, – ответил ему Леон. – Вы не знаете еще света и людей, как я. Поверьте: чем беднее жильцы дома, тем лучше для нас!

Они стали переходить через грядки огорода.

Огонь оказался в нижнем этаже и освещал одно окно значительно сильнее остальных двух, из чего можно было заключить, что он шел от лампы, стоявшей в одном из углов большой комнаты. Впрочем, вероятно, был еще свет от камина, потому что общее освещение то ослабевало, то внезапно усиливалось.

Путники были уже близко к дому, когда из него вдруг послышался голос, громкий и раздраженный. Они остановились и стали прислушиваться. Голос усилился и поднялся до самого высокого регистра, но не только нельзя было разобрать, о чем шла речь, – нельзя было даже слышать отдельных слов, до того быстро они чередовались. Это был неудержимый поток слов, который то с шумом низвергался, то несколько затихал, а потом снова несся стремглав. Часто повторялись одни и те же фразы, которые оратор, очевидно, считал особо важными и сильными, всячески подчеркивая их значение.

Вдруг донесся еще другой поток. Сразу можно было различить женский голос. Он не в состоянии был покрыть сильного голоса мужчины, но резко отличался от него своей выразительностью. Если по тону речи можно было заключить, что мужчина раздражен или разгневан, то про женщину нуж-

но было сказать, что голос ее сразу взвинтился до бешеной ярости. Это был тот тон, которым даже лучшие из женщин сводят с ума тех, кто им всего дороже, – тон, способный извести всякого мужчину, тон, которым выкрикивается желание убить собеседника и который готов каждую минуту перейти в истерику. Если бы гроб с человеческими костями был одарен способностью речи, то от него можно было бы услышать речи именно в таком тоне.

Леон был человеком храбрым и ко всему сверхъестественному относился исключительно скептически, хотя воспитывался в католическом пансионе (а может быть, именно вследствие этого), но эти ужасные женские крики заставили его перекреститься, точно оберегаясь от дьявольского наваждения. Он, по-видимому, слышал их не в первый раз в жизни, так как встречал немало женщин на своем жизненном пути.

Очевидно, этот тон и на собеседника женщины произвел потрясающее впечатление. Он мгновенно вскипел и начал такую бурную отповедь, что студент, который, конечно, не мог понять убийственного тона речи женщины и потому не обратил сначала на него внимания, сразу же наострил уши.

– Ну, сейчас будет потасовка! – объявил он.

Однако потасовки не было. Мужчина смолк, а женщина повела разговор в еще более взвинченном тоне.

– Это уже истерика? – спросил Леон, обратившись к жене. – Какая здесь подойдет режиссерская ремарка?

– Я почему знаю! – ответила Эльвира несколько кислым

тоном.

– О, женщины, женщины! – воскликнул Леон, раскрывая футляр гитары.

– Знаете, мистер Стаббс, они вечно защищают друг друга, да еще утверждают, что это не предвзятая система, а вполне естественно идет от сердца. Даже госпожа Бертелини от этого не свободна, а еще артистка!

– Ты бессердечен, Леон! – сказала Эльвира. – Разве ты не понимаешь, что эта женщина сильно расстроена.

– А мужчина? – возразило Леон, вскидывая на плечо ремень от гитары. – Как полагаешь, душечка, он не расстроен?

– Он мужчина! – ответила Эльвира необыкновенно просто.

– Вы слышите, мистер Стаббс? – обратился Леон к студенту. – Вы заметили тон? Вам уже пора принимать такие вещи к сведению. Однако что бы им преподнести?

– Вы хотите петь? – спросил с удивлением Стаббс.

– Я трубадур, – ответил Бертелини. – Я буду требовать, посредством моего искусства, доброго приема для представителей Искусства. Ну, скажите, мистер Стаббс, имел бы я право, решился бы я это сделать, если бы я был, например... банкиром?

– Но тогда вы не нуждались бы в подобном гостеприимстве, – возразил студент.

– Пожалуй, что и так, – сказал Леон. – Эльвира, он верно говорит?

– Разумеется, верно. Разве ты этого не знал?

– Мой друг, – внушительно ответил Леон, – я ничего не знаю и знать не хочу, кроме того, что мне приятно. Однако что же мы им преподнесем? Надо что-нибудь подходящее...

В уме Стаббса пронеслась высоко ценимая им и его товарищами «песнь о собаке», и он тотчас ее предложил для исполнения, но оказалось, что и слова в ней английские, и мелодию ее сам Стаббс не может припомнить.

После этого прекратилось его соучастие в отыскивании подходящего сюжета.

– Надо что-нибудь припомнить относительно бездомности, – сказала Эльвира, – о лишениях и страданиях...

– Нашел! – перебил Леон.

И он громко затянул очень популярную тогда песенку Дюпона:

Savez vous ou gite
Mai, ce joli mois?⁷

К нему присоединилась Эльвира, а потом вслед за ней и Стаббс, у которого оказался сильный голос и хороший слух, только манера пения была грубовата.

Леон и его гитара одинаково были на высоте положения.

Певец расточал звуки своего голоса с необыкновенными щедростью и воодушевлением. Надо было видеть его краси-

⁷ Знаете ли вы, где обитает Май, – прекрасный месяц май? (франц.)

вую, героическую позу, встряхивание его черных кудрей, его глаза, устремленные в небо, точно ищущие, точно видящие одобрение звезд, которым сочувственно вторит вся вселенная!

Между прочим, одно из лучших свойств небесных тел то, что они принадлежат всем и каждому: всякий вправе их считать своей собственностью, а такой вечный Эндимион, как Бертелини, мог всегда чувствовать себя центром вселенной, то есть удовлетворяться самим собой.

Из трех певцов, – и это достойно замечания – Леон по своим естественным способностям был наиболее плохим, но один он чистосердечно увлекался, один он был в состоянии оценить и передать всю прелесть серенады. Эльвира больше думала о возможных последствиях их ночной музыки – получат ли они, наконец, приют или выйдет только новый скандал, а Стаббса больше всего занимал сам процесс ночного приключения, да и вся его встреча с Бертелини представлялась ему исключительно в виде «адски забавной штуки».

Savez vous ou gite
Mai, ce joli mois? —

продолжало раздаваться среди грядок турнепса в исполнении трех мощных голосов.

Обитатели освещенного дома были, очевидно, поражены изумлением: свет заходил в разные стороны, усиливаясь то

в одном окне, то в другом. Затем растворилась дверь, и на крыльце показался мужчина с лампой в руке. Это был дюжий, рослый молодой человек с всклокоченными волосами и растрепанной бородой. На нем была длинная, до колен, разноцветная блуза, которая при ближайшем рассмотрении оказалась вся беспорядочно испачканной разноцветными масляными красками, что придавало ей подобие одежды арлекина. Из под блузы, точно у деревенского парня, ниспадали до самых пят широкие, мешкообразные штаны.

Тотчас за ним из-за его плеча выглянуло бледное, несколько изможденное женское лицо, еще молодое и несомненно красивое, но какой-то изменчивой, отходящей красотой, которой, очевидно, суждено было скоро исчезнуть. Выражение ее лица беспрестанно менялось: то оно казалось оживленным и приятным, то становилось вялым и кислым; но все же, в общем, это было привлекательное лицо. Можно было думать, что миловидность и свежесть молодости перейдут потом в интересную бледную красоту; а контрасты юной души, следы нежности и суровой резкости сольются, в конце концов, в бодрый и незлой характер.

– Что тут такое? – крикнул мужчина. – Что вам надо?

Глава VII

Шляпа Леона была уже в его руке, и он выступал с обычной грацией. Остановка у крыльца была «сделана» так изящно, что в театре стяжала бы единодушный взрыв аплодисментов.

– Милостивый государь! – начал Леон. – Должен признаться, что час теперь непростительно поздний, и наша маленькая серенада могла вам показаться даже дерзостью, но, поверьте, это было лишь воззвание к вам. Я замечаю, что вы артист. Мы трое также артисты, которые вследствие рокового стечения самых непредвиденных обстоятельств очутились без приюта и крова... И притом один из этих артистов – женщина, деликатного сложения, в бальном платье и интересном положении. Это не может не тронуть женского сердца вашей супруги, которую я замечаю за вашим плечом... В ее лице я вижу добрую и уравновешенную душу. Ах, милостивая государыня и милостивый государь, одно только доброе, благородное движение вашей души – и вы сделаете трех человек счастливыми! Просидеть часа два-три около вашего очага – вот все, что я прошу у вас, милостивый государь, именем Искусства, а вас, милостивая государыня, – во имя святых прав женской природы.

Мужчина и женщина, как бы по молчаливому соглашению, немного отошли от двери.

– Войдите! – буркнул хозяин.

– Прошу, пожалуйста, сударыня, – приветливо сказала хозяйка.

Дверь непосредственно отворялась в большую кухню, которая, по-видимому, служила и гостиной, и столовой, и мастерской. Обстановка была очень простая и вообще скудная, только на одной из стен висели два пейзажа в изящных и довольно дорогих рамах, внушавших мысль о недавнем представлении картин на конкурс и о непринятии их на выставку. Леон тотчас принялся рассматривать эти картины и другие, то отходя от них, то снова приближаясь, то глядя на них с одного бока, то – с другого, то прищуривая глаза, то прикладывая к ним кулак, согнутый в трубку, – одним словом, он провел роль знатока искусства с присущими ему сценическими опытностью и силой.

Хозяин с наслаждением светил лампочкой компетентному гостю, который пересмотрел все выставленные полотна. Эльвиру хозяйка провела прямо к камину, а Стаббс стал посреди комнаты и с изумлением следил за движениями и замечаниями Леона.

– Вы должны посмотреть картины еще и при дневном свете, – сказал художник.

– О, я уже обещал себе это удовольствие! – отвечал Леон. – Вы мне позволите одно замечание? Вы обладаете замечательным искусством композиции!

– Вы чересчур добры! – возразил обрадованный в душе

художник. – Но не подойти ли нам поближе к огню?

– С величайшим удовольствием! – поспешил ответить Леон.

Скоро вся компания сидела за столом, на котором наскоро был собран холодный ужин с дешевеньким местным вином. Меню вряд ли могло кому-нибудь особенно понравиться, но никто об этом не скорбел, – отлично съели все, что было, при самой оживленной работе ножей и вилок. Леон был, как всегда, великодушен: видеть, как он ест простую, не подогретую сосиску, значило присутствовать при каком-то особом торжестве. Он отдавал этой сосиске столько времени, мимики и экспрессии, что их хватило бы на превосходнейший английский ростбиф. Даже вид его после употребления сосиски был такой же, как у человека, который очень вкусно поел, но чувствует, что несколько перестарался.

Так как Эльвира, естественно, села около Леона, а Стаббс столь же естественно, хотя и совершенно бессознательно, поместился по другую сторону Эльвиры, то хозяевам суждено было сидеть за ужином рядом. Тем сильнее бросилось в глаза, что они друг к другу не обращали ни одного слова, даже старались друг на друга не глядеть. Чувствовалось, что прерванная битва еще волнует их сердца и снова разгорится, лишь только уйдут гости.

Завязался общий разговор, перекидывавшийся с одного предмета на другой. Было единогласно решено, что ложиться уже слишком поздно, но настроение хозяев не менялось –

даже шекспировские дочери короля Лира, Гонерилья и Регана, показались бы менее непримиримыми.

Скоро Эльвира почувствовала себя настолько утомленной, что, несмотря на правила этикета, который она, обладая изящными манерами, всегда строго соблюдала, самым естественным образом склонила голову к Леону на плечо и в то же время с нежностью, отчасти питаемой усталостью, переплела пальцы своей правой руки с пальцами левой руки мужа. Полузакрыв глаза, она почти тотчас погрузилась в сладкую дремоту, но не переставала следить за собеседниками: так, она видела, что жена художника устремила на нее упорный взгляд, в котором перемежались и презрение, и зависть.

Леон не мог долго обойтись без табака. Он осторожно высвободил свои пальцы из Эльвириной руки и тихонько скрутил папиросу, заботливо стараясь не нарушить покоя жены ни одним лишним движением. Это вышло замечательно трогательно и мило и в особенности сильно поразило жену художника. Она на мгновение устремила свой взгляд вперед и затем украдкой быстрым движением схватила под столом руку мужа. Она могла бы обойтись и без этого ловкого маневра. Бедный малый так был поражен неожиданной лаской, что остановился на полуслове с широко открытым ртом и выражением лица красноречиво пояснил всей компании, что его мысли приняли весьма нежное направление.

Все это было бы нелепо и смешно, если бы не вышло так мило. Жена художника уже высвободила свою руку, но эф-

фект был достигнут. Всклокоченный художник зарумянился и на одну минуту казался даже красавцем.

Разумеется, Леон и Эльвира все видели. Оба они были отчаянными сватами, а примирение молодоженов могло даже считаться их специальностью. Оба испытали какую-то сочувственную дрожь.

– Прошу прощения! – внезапно начал Леон. – Очень прошу вас не быть на меня в претензии, но когда мы подходили к вашему дому, мы слышали звуки, свидетельствовавшие, – если я смею так выразиться, – о не вполне совершенной гармонии...

– Милостивый государь! – воскликнул было художник с намерением прекратить разговор.

Но его опередила жена.

– Совершенно верно, – сказала она, – и я не вижу, чего тут стыдиться. Если мой муженек с ума сходит, то я обязана по меньшей мере предотвратить некоторые последствия. Сударь и вы, сударыня, – обратилась она к обоим Бертелини, не обращая никакого внимания на студента, – вы только вообразите себе! Вообразите, что этот несчастный мазилка, который не способен даже вывеску хорошо написать, сегодня утром получил превосходное предложение от дяди, – от моего родного дяди, брата моей матери, которого я чрезвычайно люблю. Ему – вы понимаете? – дают место в конторе: около полутора тысяч франков жалованья в год, а он – вы только представьте себе! – изволит отказываться. Ради чего, спра-

шивается? Ради искусства, говорит он! Да вы посмотрите на его «искусство»! Пожалуйста, посмотрите! Разве это можно посылать на выставку? Спросите его сами: можно это продать? И вот из-за этого, сударь и сударыня, я должна быть лишена всяких удовольствий, всякого комфорта, должна жить чуть не впроголодь на самой скверной окраине провинциального городишка. Нет, нет! – выкрикнула она. – Je ne me tairai pas, c'est plus fort que moi!⁸. Я прошу обоих джентльменов и благородную леди быть судьями: разве это хорошо с его стороны? Разве прилично? Разве человечно? Неужто я не заслуживаю лучшей участи после того, как я вышла за него замуж, и... – последовала небольшая заминка, – все сделала, что могла, чтобы ему нравиться и скрасить его существование?

Можно себе вообразить положение сидевших за столом! Все имели какой-то ошалелый вид, и больше всех художник.

– Однако произведения вашего мужа имеют несомненные достоинства, – сказала Эльвира, нарушая общее молчание.

– Так что же из этого? – ответила жена. – Достоинства есть, а покупать их никто не хочет.

– Я полагаю, что место в конторе... – начал было Стаббс.

– Искусство есть искусство! – воскликнул Леон. – Я приветствую искусство! Оно прекрасно, оно божественно! В нем душа мира, гордость человеческой жизни! Но... – Тут оратор остановился.

⁸ Я не замолчу, не могу молчать! (франц.)

– Если хорошая должность в конторе... – начал снова Стаббс.

Обоих перебил художник:

– А я вам скажу, в чем дело. Я – художник, а искусство, как говорит мой почтенный гость, есть и то, и прочее. Но вот что! Если моя жена собирается ежедневно меня изводить своей грызней, я лучше пойду и сейчас же брошусь в воду!

– Ну и ступай! – крикнула жена.

– Я собирался сказать, – договорил, наконец, Стаббс, – что можно быть конторщиком и в то же время рисовать сколько угодно. У меня есть приятель, который служит в банке, но в то же время он сколотил себе капиталец акварельными рисунками.

Обеим женщинам показалось, что Стаббс бросил спасательный круг. Каждая вопросительно взглянула на своего мужа, даже Эльвира, которая сама была артисткой.

Видно, в женской натуре всегда остается меркантильная струнка.

Мужчины обменялись взглядом – взглядом трагическим. Именно так посмотрели бы друг на друга два философа, если бы к концу жизни внезапно узнали, что их учение так и осталось непонятым их ученикам. Леон встал.

– Искусство есть искусство, – печально и серьезно произнес Леон, – а не рисование акварельных картинок и не бренчание на фортепиано. Это – жизнь, которую артист переживает.

– Если только он с голоду не подыхает, – добавила жена художника.

– Если вы это называете жизнью, она не для меня.

– Я скажу вот что, – продолжал Леон. – Пойдите, сударыня, в другую комнату и поговорите еще с моей женой, а я здесь останусь и поговорю с вашим супругом. Не знаю, выйдет ли что-нибудь из этих разговоров, но позвольте попробовать.

– О, пожалуйста! – ответила молодая женщина и, взяв свечу, попросила Эльвиру последовать за ней в спальню.

– Дело в том, – сказала она, опускаясь на стул, – что мой муж не умеет рисовать.

– Да и мой не умеет играть, – добавила Эльвира.

– А мне кажется, что ваш муж должен хорошо играть, – возразила та.

– Он мне показался очень разносторонним и способным человеком.

– Он такой и есть, и вдобавок еще замечательно хороший человек, – сказала Эльвира, – но играть он не умеет и успеха иметь не будет ни при каких обстоятельствах.

– Но все же он не такой дикий чудак, как мой! Ваш по крайней мере умеет петь.

– Вы не понимаете Леона! – горячо возразила Эльвира. – Он совсем не претендует быть хорошим певцом – для этого у него слишком много понимания и вкуса; он поет лишь из нужды, чтобы иметь, чем жить. И, поверьте мне, ни тот ни

другой – не чудаки и не шутники. Они люди с призванием, у них есть миссия, но они еще не могут найти дорогу, проявить себя.

– Кто они такие, я не знаю, – ответила жена художника, – но вы чуть не остались ночевать в поле, а я живу в постоянном страхе остаться без куска хлеба. Я полагаю, что призвание мужчины должно заключаться в том, чтобы как можно больше заботиться о жене. Но об этом у него нет заботы – ему бы лишь делать по-своему, разыгрывать не то шута, не то сумасшедшего. Ах, – воскликнула она, – разве не тяжело так думать о своем муже? Если бы он только мог иметь успех... Но нет, он не может!

– Есть у вас дети? – спросила Эльвира.

– Нет, но я могу ожидать...

– Дети многое меняют, – сказала Эльвира, вздохнув.

Вдруг послышался аккорд гитары, затем другой, третий – и раздался голос Леона. Обе женщины умолкли. Жена художника точно преобразилась. Эльвира смотрела ей прямо в глаза и читала все ее мысли, ее чувства. Песня, очевидно, пробудила сладкие воспоминания юности. Перед взором молодой женщины проносилась зеленая равнина Средней Франции, благоухали яблони в цвету, серебрились извилины красавицы-речки, слышались упоительные слова любви.

«Леон в ударе. Он попал в точку, – подумала про себя Эльвира. – Но как он смог угадать ее настроение?»

На самом деле это оказалось довольно просто. Леон спро-

сил художника, не припомнит ли он какой-нибудь песни, которая была бы связана со счастливым временем его ухаживания за той, которая стала ему женой, с их объяснением в любви, и узнал то, что ему было нужно. Дав еще некоторое время женщинам наговориться, он вдруг запел простенькую, но поэтическую песенку о любви.

– Вы меня простите, сударыня, – сказала жена художника, – но ваш муж великолепно поет.

– Он поет не без чувства, – ответила Эльвира тоном строгого критика, хотя сама почувствовала себя несколько взволнованной. – Он по призванию драматический артист, а не певец и не музыкант.

– Как жизнь печальна! – грустно промолвила жена художника. – Как много в жизни пропадает, точно ускользает между пальцами!

– Я этого до сих пор не находила, – возразила Эльвира. – Я думаю, что хорошие стороны жизни долго сохраняются, а со временем даже усиливаются.

– Послушайте! Скажите мне, что вы посоветуете сделать?

– Отвечу вам по совести. Я бы предоставила мужу делать то, что он желает. Ведь нет сомнения, что художник вас любит, а будет ли любить вас конторщик, это еще неизвестно. И знаете, если он станет отцом ваших детей, то что для вас может быть лучше, чем иначе вы его удержите при себе?

– Правда, он отличный человек, – сказала жена.

Пение и веселая, ставшая дружеской, беседа продолжа-

лись до утра, а когда взошло солнце, все простились у крыльца с самыми искренними и сердечными пожеланиями взаимного благополучия. Печи Капель-ле-Гаши уже дымились, и дым уносился на восток. Церковные часы прогудели шесть раз.

– Моя гитара – мой добрый дух! – воскликнул Леон, когда они направились кратчайшим путем в ближайшую гостиницу. – Она пробудила жизнь в комиссаре полиции, взбодрила одного английского туриста и примирила мужа с женой!

Стаббс же пошел своей дорогой и предался свойственным ему размышлениям.

«Все они сумасшедшие, – думал он, – положительно сумасшедшие, но удивительно занимательные и приличные люди».